



А. Х. ТАММСААРЕ О ДОСТОЕВСКОМ (Публикация, перевод и комментарии Н. М. Басселя)

Антон Хансен Таммсааре (1878—1940), крупнейший эстонский прозаик-реалист XX в., испытал сильное влияние творчества Достоевского, что нашло отражение как в художественных произведениях самого Таммсааре, так и в его литературной публицистике. В одном интервью 1928 г. он сам признал, что если уж искать следы чьего-либо влияния в его творчестве, то «указание на Достоевского я бы не осмелился оспаривать». Ознакомившись еще в гимназические годы с романом «Преступление и наказание», Таммсааре впоследствии перевел его на эстонский язык (опубл. в Тарту издательством «Лоодус» в 1929 г.), с чего, собственно, и началось серьезное ознакомление эстонского читателя с романным творчеством Достоевского. За несколько лет до своей смерти Таммсааре вспоминал: «Я кое-что читал, но лучшего, чем русская литература, я не находил. Если взять такие имена, как Достоевский, Толстой или Гоголь, во всей мировой литературе некого поставить рядом с ними. А Достоевский совсем свел меня с ума, я жил во сне и наяву под его влиянием. Особенно захватило меня его „Преступление и наказание“».¹

В 1924 г. Таммсааре написал предисловие к роману «Бесы», который он, очевидно, сам и собирался перевести (перевод в то время так и не осуществился). Эта статья долгие годы оставалась в рукописи и хранилась в Литературном музее им. Ф. Р. Крейцвальда АН Эстонской ССР в Тарту (ныне — Эстонский литературный музей). Опубликована она была впервые лишь в 1969 г. в журнале «Лооминг» (№ 8), с послесловием Э. Сийрак «О Таммсааре и Достоевском». «Это — наиболее обширное из (...) написанного Таммсааре о Достоевском, — отмечает Э. Сийрак. — Она [статья] дает опорные точки для понимания социальных и эстетических воззрений самого Таммсааре. Из статьи также выясняется, что Таммсааре был хорошо знаком с русскими и немецкими источниками, касающимися творчества Достоевского. Для него Достоевский был как бы мерилем, при помощи которого он мог оценивать других писателей. С точки зрения Таммсааре, творчество Достоевского было столь высоким образцом, что западноевропейской литературе потребовались столетия, прежде чем она смогла достичь такого же уровня».²

¹ *Tork Virge. Tammsaaret kulastamas // Tartu Tütarlaste Gümnaasium. 1938. N 7—8. Lk. 157.*

² *Siirak Erna. A. H. Tammsaare in Estonian Literature. Tallinn, 1978. P. 98.*

Далее мы приводим в нашем переводе с эстонского языка вторую половину этой статьи, посвященную анализу романа «Бесы» и обобщающим размышлениям и оценкам творчества Достоевского, к которым приходит эстонский классик. На русском языке эта статья ранее не публиковалась. В первой, опускаемой нами половине статьи, кроме публицистического начала, содержится популярный пересказ биографии Достоевского, рассчитанный на малознакомого с ней в период создания статьи эстонского читателя, а также достаточно общеизвестный анализ романа «Преступление и наказание». Перевод осуществлен с текста статьи, озаглавленной «Введение» и опубликованной в XVI т. «Собрания сочинений» А. Х. Таммсааре (Публицистика II. 1914—1925), вышедшего на эстонском языке в издательстве «Ээсти Раамат» (Таллинн, 1988. С. 619—648; переводимый фрагмент — с. 636—648.³ Комментарии к статье опубликованы там же, с. 771—773). Для русского перевода потребовалось уточнить, расширить и дополнить комментарии.

ВВЕДЕНИЕ (к роману «Бесы»)

.....
.....
.....
.....

Вплоть до самой смерти Достоевский исследовал личность, ее права, ее веру и взаимоотношения с окружением. В молодости его сослали на каторгу, обвинив в участии в подпольной деятельности, где замыслили переустройство общественного строя согласно идеалам большинства. Но пророк общественного демократического преобразования должен неизбежно иметь в виду не только личность и ее интересы, но и пользу для большего количества людей. В социализме же Достоевский узрел как наихудшее именно то, что здесь интересы личности хотят принести в жертву интересам общества или так называемого большинства. Его «подпольный человек» («Записки из подполья»), кто всю свою жизнь принес в жертву обществу, приходит в конце концов все же к решению, что все общество оставляет его безучастным. «Целому свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить», — говорит он цинично. Когда наблюдаешь борения великой русской революции, невольно приходит на память «подпольный человек» Достоевского. Воздух словно звенит от слов: «Всему свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить», лишь бы мой живот был сыт, конечности прикрыты.⁴ В жертву идеям или страстям приносятся тысячи и миллионы невинных жизней. Жизнь человека стоит меньше, чем мысль, чем страсть, чем крикнутое

³ Tammsaare A. H. Sissejuhatuseks // Tammsaare A. H. Kogutud teosed. 1—17. Tallinn, 1988. Kd. 16: Publitsistika II (1914—1925). Lk. 619—648 (Lk. 636—648).

⁴ Мысли героя-повествователя из «Записок из подполья» переданы здесь Таммсааре не совсем точно. В тексте Достоевского это звучит так: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» (5, 174).

в воздух слово. А Достоевский утверждает жалостно, настойчиво, прямо-таки безумно: «Человек — это цель!». Все доходы общества ничтожны рядом с ценностью личности человека, каковая неприкосновенна и свята. Иван Карамазов требует от общества и Бога отчета о каждом отдельном человеке, будь это взрослый или ребенок, и он готов повернуться спиной как к вожделенному государству будущего на земле, так и к небесному раю, если для его достижения жертвуют жизнью даже одного невинного ребеночка. Не надо блаженства, если оно покупается ценой греха против человека. Читая подобные рассуждения, невольно вспоминаешь христианское учение об искуплении, и встает вопрос, не собирается ли Достоевский использовать свое мерило и применительно к смерти Христа как безвинного человека? Как можно ради достижения блаженства человечества, ради его спасения приносить в жертву жизнь этого, самого невинного? Имеет ли Бог право приносить кого-либо в жертву вообще, пускай это будет даже Его собственный Сын?

Человек как личность развивается у Достоевского до последних пределов, он подымается из темных, природных, животных корней и возвышается до сияющих вершин духовности; везде происходит борьба героической воли к власти: в Раскольникове — с нравственным чувством долга и совестью; в Свидригайлове («Преступление и наказание») и Версилове («Подросток») — с утонченной и сознательной, в Рогожине («Идиот») — с бессознательной и примитивной похотливостью; в Петре Верховенском, Ставрогине и Шатове («Бесы») — с народом, государством и политикой; в Иване Карамазове («Братья Карамазовы»), князе Мышкине («Идиот») и Кириллове («Бесы») — с религиозными тайнами и метафизикой (Мережковский).⁵

Человек захвачен борьбой в ходе какого-то великого перелома, находится в состоянии какой-то конечной борьбы, как это кажется при чтении последнего и крупнейшего произведения Достоевского — «Братьев Карамазовых». Гибнут мысли, идеи, умирают люди, поколения людей и народы, на смену тем и другим приходят новые. Нынешнее состояние человека не может дольше длиться, потому что в его душе царствуют величайшая неразбериха, буря, противоречия. На руинах старых добродетелей, старых ценностей стонет он под тяжестью известных вопросов, ибо совершенно утерял оправдание смысла жизни. Но смерть идей и людей не означает вечной смерти: при разрушении устаревших ценностей возникают родовые схватки рождения новых вер, новых иллюзий и нового человека. Новый человек должен соединить сначала в себе самом, затем в своей деятельности все те идеи, добродетели и ценности, которыми жили и развивались ушедшие поколения. Новый человек, нареченный Достоевским человекобогом, в то время как Ницше назовет его позднее сверхчеловеком (это определение быстро распространилось по свету), — этот человек рождается там, где выступают за все человечество и его страдания, как это делает Иван Карамазов; либо же начало его следует искать там, где ощущают

⁵ Имеется в виду: Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество. М., 1901—1902. Т. 1—2.

страдания человечества в прошлом, настоящем и будущем как свои личные страдания, как об этом говорит Версиров («Подросток»); он видится нам в образе старца Зосимы («Братья Карамазовы»), сжегшего окалину тела и души в пламени пропасти страстей и пороков и ставшего божественно всепонимающим и всепрощающим; очевидно, он станет проявляться и в тех личностях, кто по каким-то причинам не может в достаточной мере опираться на трезвую и расчетливую логику, но позволяет себе руководствоваться каким-то естественным необъяснимым чувством, превращаясь в глазах обычных людей в идиота (князь Мышкин); в конце концов он превратится в захватывающую мечту в молодом человеке наподобие Алеши Карамазова, унаследовавшего от рождения сатанинские страсти, благодаря чему он способен понимать грехи заблуждающихся, но которому для их уравнивания дана от природы какая-то не объяснимая словами сила, создающая противовес страстям и порождающая гармоничное целое. Такая личность могла бы уже давать представление о новом, мечтаемом человеке не только в мыслях и чувствах, но и в делах. Из него могло бы развиваться нечто подобное тому, что чувствовал Достоевский, создавая свой образ Христа в легенде о Великом Инквизиторе («Братья Карамазовы»). Великий Инквизитор есть не кто иной, как знаменитый своими религиозными преследованиями пресловутый Торквемада. К нему является Сам, дарующий благословение. Но по религиозным рецептам Торквемады и Он — только еретик, которого тот бросает в тюремную башню, дабы вершить над Ним суд и отправить Его на костер, как он это делал раньше с сотнями и тысячами других. Свои действия он обосновывает очень даже мило, а именно — слабостью людей. Человек — это своеобразное дитя, которое не в состоянии смотреть спокойно и смело в глаза ни правде, ни свободе, это все пугает и мучает его. Человек способен воспринимать правду, когда она смешана с известной долей лжи; человек начинает сразу строить себе новую тюрьму в виде разных ничтожных добродетелей и святых, как только его от старых хоть чуть освободят. Человек любит тюрьму и ее решетки, как это изображает Леонид Андреев в одной из своих новелл.⁶ Правду и свободу, знание добра и зла способны выдержать только одиночки, и эти одиночки должны сочувствовать людям, они должны брать на себя за народ самый тяжкий груз, груз правды и свободы, груз знания добра и зла. «Ибо лишь мы, — говорит Великий Инквизитор, — мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла» (14, 236). Один из этих сочувствующих и страдальцев за людей и есть сам Торквемада вместе со своими помощниками. Если теперь Христос вновь явился в мир, чтобы принести людям правду, свет и свободу, то Он совершил великую ошибку: Его великие дары могли бы человечество в его большинстве сделать лишь несчастным. Торквемада же, знающий людей лучше, чем приносящий благословение, не может в своем сочувствии допустить, чтобы Христос сделал людей несчастными. Поэтому он решается на

⁶ Речь идет о повести Л. Андреева «Мои записки» (1908).

самый трудный шаг: он хочет Христа сжечь на костре. Дарующий благословение выслушивает молча объяснения Великого Инквизитора и, когда Ему сообщают Его смертный приговор, подходит к Торквемаде и целует его. Поцелуй оказывает на Торквемаду влияние, он отменяет смертный приговор и говорит (Христу), чтоб тот никогда больше в этот мир не возвращался.

Но вы знаете, что верующие как раз ожидают второго пришествия Христа, как сам Достоевский мечтает о новом человеке, Богочеловеке, или, как Ницше, провозглашает сверхчеловека. Достоевский мечтает, нет, верит, что этот новый человек родится именно в России, которая в своем развитии должна пойти своим особым путем, как этому учили народники. По его мнению, «Россия скажет всему свету самое великое слово, которое он когда-либо слышал»,⁷ потому что главным свойством русского народа является всечеловечность. И свету это новое слово нужно, потому что вся Европа стоит перед «всеобщим и страшным упадком».⁸ И Россия находится в какой-то конечной точке, «раскачиваясь над пропастью»,⁹ но она спасется благодаря тому, что у русского два отечества — Россия и, кроме того, еще Европа, каковые две сущности он сольет в одну. Эту свою любимую мысль Достоевский повторяет во многих местах на протяжении всей своей жизни; в начале мировой войны эта мысль звучала эхом из уст Мережковского, Бердяева, Розанова и др. Когда Достоевский говорит о «русском народе», то подразумевает он под этим только крестьянина и советует интеллигентам идти к нему учиться мудрости. В этом — одна из точек его соприкосновения с Толстым, который возвысил в идеальном освещении русского крестьянина и его естественные мудрость, доброту и добродетельность. Своеобразный колорит эта романтика обрела в образах босяков Максима Горького. Но основой всего этого является кризис рационалистического просвещения во всем мире. Разум учил людей любить и сомневаться, пока человек не стал сомневаться в самом разуме и его работе. Свет разума должен был сделать человека лучше, умнее, спокойнее, но разум принес беспокойство, нервозность и на место каждой решенной загадки принес десять новых. Разум вел человека дальше в практической жизни, но в объяснении мира и загадок жизни он не оправдал надежд, слепо возложенных на него человеком. Отсюда рождаются неокантианство, интуитивизм, рождается подчеркивание того, что глубинное познание, как и творчество, основывается в конечном счете на некоем необъяснимом инстинктивном чувстве. Пуанкаре утверждает, что даже в математике творческой силой является не сухой и трезвый интеллект, а какое-то опьяняющее чувство; интеллект придает созданным понятиям лишь формальное выражение. А что же тогда следует думать о других областях науки и искусств, если даже в математике дело обстоит таким образом? И что следует тогда думать о мудрости человека вообще, если значение интеллекта

⁷ Неточная цитата из «Дневника писателя» за 1877 г. (ср.: 25, 22).

⁸ Неточная цитата из Речи о Пушкине (ср.: 26, 167).

⁹ Ср. в письме Достоевского к петербургским студентам от 8 апреля 1878 г.: «...вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной» (30, 23).

в умственном труде станут таким образом оценивать? Надо тогда вместе с Достоевским и Толстым остановиться на неграмотном крестьянине, или, может, есть даже причина передвинуться из общества людей в среду животных, поскольку хотя у них и отсутствует разум, но в них все же можно определенно предположить наличие инстинктивного чувства? Этот шаг и совершил Метерлинк. В поисках более глубокой мудрости живых существ он передвинулся от людей в среду животных и написал свою «Жизнь пчел», но и на этом не остановился, опубликовав книгу, названную «Разум цветов». Здесь не место, да и не хватает пространства для рассуждений, в какой мере сомнения в услугах разума обоснованны, но только все же следует отметить, что у Достоевского был глубокий ясновидящий взгляд, когда он предполагал, что Европа стоит в преддверии какой-то катастрофы. Если наряду с разочарованиями в разуме еще вспомнить, как перед мировой войной возникли течения в искусстве, которые отрицали все созданные до этого художественные ценности, то становится понятным, в какой тупик зашло нервное состояние людей, спасти из которого может только гигантское потрясение.

Гигантским потрясением разрешает и Достоевский запутанные узлы жизни своих взволнованных, зачастую с чувствительными до болезненности нервами героев. Это мы видим во всех его лучших произведениях, и это найдет читатель в настоящем романе. Трудно как здесь, так и где-либо в другом месте пересказать фабулу романа, и даже если это и возможно, то это даст о содержании произведения, его глубине и глубочайшем смысле, для передачи которого так трудно найти подходящие слова, лишь очень малое представление. Действие разворачивается обычно с сумасшедшей скоростью, обретает драматический подъем, но все же трудно передать даже сценически то впечатление, которое получаешь при чтении романа. Поэтому попытки переноса романов Достоевского на сцену заканчивались все-таки весьма неудачно и бесцветно. Еще более странным кажется, что этого ныряльщика в глубины человеческой души пытались эксплуатировать для кинофильмов («Идиот»). Но свой смысл у этих попыток все же есть: они показывают, в какой мере этого героя духа приходится урезать, стричь, опошлять, прежде чем сделать его удобоваримым для массы. Происходит то же самое, что стало давно повседневым явлением с Шекспиром в Англии и в других местах: их (т. е. подобных писателей. — Н. Б.) надо популяризировать или же их не воспринимают вообще.

В настоящем романе можно было бы обратить внимание на две отдельные части: с одной стороны, ощущается острая критика в адрес общественных движений России и ее успокоившихся и легко удовлетворившихся гуманистических вождей (Кармазинов и старый Верховенский) в 70-х гг. прошлого столетия. Эта часть интересует нас здесь, пожалуй, весьма мало, поскольку не наша задача обращать особое внимание на взгляды Достоевского по этому вопросу. Отметим только, что трудно было бы, например, разделять его взгляды на социализм. Он боится — в отношении социализма — угнетения, опошления, умаления личности, но, может, возражения в этой части можно было

бы посчитать более убедительными, если не сосредоточиваться только на привилегиях, якобы единоположенных судьбой и богами каким-то верхним десяти тысячам, как это делает в настоящем романе Шигалев, в «Братьях Карамазовых» — Великий Инквизитор или в «Преступлении и наказании» — Раскольников.

Более интересны и увлекательны те части романа, где писатель в своем естественном художническом порыве забывает, что он взялся написать произведение социального звучания, и безо всяких предрассудков и вне целей и задач, находящихся за пределами творчества, углубляется в душевную жизнь своих героев. Здесь он порою открывает перед глазами читателя такие пропасти души, идей и страстей, при взгляде в которые сердце больно сжимается, перед глазами рябит и в голове все смешивается.

Люди страдают и мучаются, но не потому, что внешние обстоятельства это обуславливают, — у каждого во внутреннем мире присутствует та изначальная сила, что делает невыносимо жарким ад жизни: у каждого свой какой-то безумный, безрассудный идейный конек, гарцуя на котором, никак гибели не избежать. Рассмотрим, например, Кириллова, попавшего в тупик богоискательства, откуда нет другого выхода, кроме такого: если Бога нет, тогда человек сам — Бог, и если он Бог, то должен свою божественность доказать самым большим произволом, т. е. лишить себя жизни. Видите: если ты Бог, то лишай себя жизни, словно в доказательство того, что боги смертны и что каждый Бог, в ком еще душа жива, может доказать свое существование только смертью. Кириллов и доказывает, что он Бог, т. е. пускает себе пулю в лоб. Но тяжела смерть богов, страшные мучения испытывает и Кириллов, большие, чем только лишь для доставления здесь читателю художественного удовольствия. Вне политики вместе с Кирилловым стоит здесь и Шатов, хотя он, очевидно, из-за политики теряет свою жизнь. Он — один из тех героев Достоевского, которые вступают на путь внутреннего обновления, которые стремятся достигнуть мира и ясности через обретение веры и Бога. Но он еще не достигает цели, он лишь полагает, что начал верить, он хотел бы верить, тоскует о чем-то большом, надежном, глубоком, органически любимом, из-за чего стоило бы жить и трудиться. Повторяя мысли Ставрогина, он приходит к решению, что «цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в Него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий Бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими (...) Чем сильнее народ, тем особливее его Бог» (10, 198—199).

В Ставрогине выступает в измененном виде столь знакомый по русской литературе характер, который Лермонтов называет Печориным, Пушкин — Евгением Онегиным, Гоголь — Тентетниковым, Тургенев — Рудиным. В нем сосредоточены бесконечные возможности, но у него отсутствует сила воли, и, таким образом, из него ничего не

получается. В нем борются противоречивые силы, взаимно друг друга уничтожающие и парализующие деятельность. Ставрогин чувствует в известной мере то же, что и Версиков, когда он признает: «В одно и то же мгновение я могу очень хорошо испытывать два совершенно противоречивых чувства», однако «и то и другое чувство слишком мелко, желания слишком несильны, чтоб они могли к чему-либо направить».¹⁰ Поэтому глубоко обоснованны слова Лизы, когда она говорит после ночи любви: «Я ни на что не способна, и вы ни на что не способны» (10, 401). Ища причины всего этого, сам Ставрогин полагает в письме, направленном сестре Шатова: «Ваш брат говорил мне, что тот, кто теряет связи с своею землей, тот теряет и богов своих, то есть все свои цели» (10, 514). Здесь Ставрогин направляет внимание на русскую жизнь, особенно на преимущественное и наиболее печальнейшее обстоятельство жизни русских интеллигентов: они стали чуждыми родине и народу, они утратили его понимание, потеряли связь с ним, в результате чего возникла романтическая идеализация народа, приобретающая столь острый характер в учении как самого Достоевского, так и Толстого, — о народе и его облагораживающих добродетелях. Этим в большой мере объяснимы и особенности русского освободительного движения, которые наиболее остро бросились в глаза в дни великой мировой войны и революции. Общественные вопросы обращают наше внимание уже на Петра Верховенского и его последователей. Только, пожалуй, теперь, когда мы пережили мировую войну и революцию, мы начинаем серьезно понимать, насколько верно изобразил Достоевский этого деятеля революции, но отнюдь не ее родоначальника. Ранее лишь немногие могли поверить, что совершение революции может до такой степени уничтожить все добродетельные опоры в человеке, как это показал Достоевский в образе Верховенского. Словно Кармазинов был в известной мере прав, когда говорил: «Сколько я вижу и сколько судить могу, вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести (...) Нет, в Европе еще этого не поймут, а у нас именно на это-то и набросятся. Русскому человеку честь одно только лишнее бремя. Да и всегда было бременем, во всю его историю. Открытым „правом на бесчестье“ его скорей всего увлечь можно» (10, 288).

И вообще душевная жизнь революционных деятелей (в романе Достоевского. — Н. Б.) неизбежно напоминает события и деятелей великой революции. Обратим, например, внимание на слова из листовок, которые Лебядкин вспоминает в разговоре со Ставругиным: «Запирайте скорее церкви, уничтожайте Бога, нарушайте браки, уничтожайте права наследства, берите ножи...» (10, 212—213). Необходимо добавить, что этот самый придурак в присутствии Виргинского про-

¹⁰ Слова Ставрогина из письма Дарье Павловне переданы Таммсааре неточно. В тексте Достоевского они звучат так: «Я всё так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удовольствие. Но и то и другое чувство по-прежнему всегда слишком мелко, а очень никогда не бывает. Мои желания слишком несильны; руководить не могут» (10, 514).

возглашает «свободу социальной женщины».¹¹ Особенно характерно мешаниной политических идей учение Шигалева, относительно которого он сам выносит очень меткое, хотелось бы сказать — поразительное, заключение: «Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако ж, что, кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого» (10, 311).

Ах, сколь реально, сколь естественно звучат эти слова сегодня у нас в ушах, а во времена жизни самого Достоевского они могли показаться только лишь злой насмешкой!

Но это еще не все. Почитайте, например, как хромой школьный учитель объясняет шигалевщину, может, тогда поймете, какие пророческие слова умел говорить Достоевский: «Он предлагает, в виде конечного разрешения (общественного. — Н. Б.)¹² вопроса, — разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятими. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать (...) Дабы достичь этого Эдема,¹³ нам вот предлагают (...) завести кучки с (...) целью всеобщего разрушения, под тем предлогом, что как мир ни лечи, всё не вылечишь, а срезав радикально сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку».¹⁴

Наиболее же характерно разъясняет суть шигалевщины Верховенский, когда он рассказывает Ставрогину: «...у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому (...) В крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и

¹¹ Нельзя не указать на поистине анекдотический казус, возникший в этом месте статьи Таммсааре по вине готовившего ее публикацию в «Собрании сочинений» редактора-текстолога (Л. Уусталу). заменив пропущенную Таммсааре (очевидно, по невнимательности) букву *t* на *h* и не удосужившись свериться с текстом романа, этот редактор ничтоже сумняшеся превратил «придурка Лебядкина» (по-эстонски totter) в «доктора Лебядкина» (по-эстонски tohter), в результате чего фраза в статье получилась следующей: «Необходимо добавить, что этот самый доктор» в присутствии Виргинского провозглашает „свободу социальной женщины”» (С. 643). При переводе статьи на русский язык мы эту несуразность, разумеется, исправили.

¹² Слово *ühiskondliku* (общественного) вставлено Таммсааре в перевод высказывания хромого школьного учителя, чтобы эстонскому читателю, не знакомому с русским оригиналом романа, было ясно, о конечном разрешении какого вопроса идет речь.

¹³ Слова «Дабы достичь этого Эдема» вставлены Таммсааре от себя для логического связывания в одну двух цитат из высказываний хромого школьного учителя — первой, заканчивающейся словами «и будут работать» (10, 312), и второй, начинающейся словами «Нам вот предлагают...» (10, 314).

¹⁴ Приведенное Таммсааре высказывание хромого школьного учителя, излагающего суть шигалевщины, как он ее понимает, скомпоновано из двух разных цитат оригинала (10, 312 и 314). Кроме вставки «Дабы достичь этого Эдема», остальной текст этого высказывания переведен эстонским писателем соответственно оригиналу (многозначия во фрагменте «нам вот предлагают (...) завести кучки с (...) целью всеобщего разрушения» вставлены нами в местах, где у Таммсааре имеются пропуски сравнительно с оригиналом — ср.: 10, 314).

талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями — вот шигалевщина! Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство <...> Не надо образования, довольно науки! <...> Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Всё к одному знаменателю, полное равенство <...> У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безразличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга <...> единственно чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое; в шигалевщине не будет желаний. Желание и страдание для нас, не для рабов Шигалева...».¹⁵

Интересно отметить и то, что П. Верховенский считает влиятельной силой в созданных для революционной деятельности тайных обществах. Во-первых, — мундир, т. е. внешний признак, почетные звания; во-вторых, — сентиментальность; в-третьих, — это чистые мошенники, и, наконец, главная сила, связующий все цемент — «это стыд собственного мнения. Вот это так сила! И кто это работор, кто этот „миленький” трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове! За стыд почитают».¹⁶ Потому что «теперь нет ни у кого больше собственного ума. Теперь очень мало особенных голов».¹⁷ Здесь содержится уже указание на нечто большее того, что могло бы напомнить о революционном движении. Здесь содержится выпад против всей нашей модной культуры со всеми ее газетами, всеобщим образованием, школами, научно-популярной литературой, речами, театрами, кинотеатрами, телефоном, телеграфом и книгопечатанием, что позволяет всем все знать и ни во что не углубляться. Все превращается в какое-то фабричное производство, фабричный продукт, будь то одежда, мебель, инструмент труда, наука, искусство, человек

¹⁵ Приведенное Таммсааре высказывание Верховенского также скомпоновано из двух цитат оригинала (10, 322 и 323). Первая цитата (10, 322) обрывается на словах «но в стаде должно быть равенство...». Вторая цитата (10, 323) начинается словами «Жажда образования...» и обрывается на словах «полное равенство...». Затем следует фрагмент «У рабов должны быть правители... в шигалевщине не будет желаний», с одним пропуском. Конец же цитаты в переводе изменен Таммсааре сравнительно с оригиналом (в оригинале последняя фраза звучит так: «Желание и страдание для нас, а для рабов шигалевщина», у Таммсааре же получилось: «Желание и страдание для нас, не для рабов Шигалева...»). Кроме этой концовки, остальной текст переведен Таммсааре в соответствии с оригиналом.

¹⁶ Перечисление Верховенским «влиятельных сил» в тайных революционных обществах (10, 298—299) приводится Таммсааре в раскавыченном виде в сокращенном пересказе — вплоть до характеристики «главной силы», которую он предлагает читателю в виде переводимой точно по тексту оригинала цитаты («...это стыд собственного мнения <...> За стыд почитают» — ср.: 10, 299).

¹⁷ Взятые Таммсааре в кавычки слова представляют собой вольное изложение мыслей Верховенского.

сам или его знания, мнения и вера, нравственность, добродетели, святости. Истины создает наборная машина и свободы принесит ротационная машина, вдохновение и любовь к отечеству — кино. В этом направлении, как и в поисках сверхчеловека, Достоевский является предшественником Ницше, хотя они каждый сам по себе совершенно самостоятельно размышляют.

Достоевский сам пишет о настоящем романе следующее: «В этом романе я попытался изобразить те многообразные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного злодеяния. (Под этим Достоевский подразумевает убийство Иванова Нечаевым. Нечаев (1848—1882) был революционер, который учил, что «время мирной пропаганды миновало, приближается страшная революция». Он создал подпольное общество под названием «Общество народной расправы», где господствовал примерно такой же порядок, какой мы видели в шигалевщине. В 1869 г. он убил вместе с помощниками студента Иванова, и это событие и привело Достоевского к замыслу настоящего романа, где вместо убийства Иванова показано убийство Шатова. Сам Нечаев (как и Петр Верховенский) удрал за границу, но правительство Швейцарии его выдало и его приговорили к 20 годам каторги. Он был безнравственной, но очень энергичной и властолюбивой личностью.¹⁸) В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть, немерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, — вот в чем наша современная беда!».¹⁹

Как явствует из этих слов, можно было бы предположить, что мы имеем в настоящем романе дело с какой-то «действительно произошедшей» историей, к которой лишь добавлено дешевенькое нравственное поучение. Но гений Достоевского позаботился о том, чтобы вся эта «всамделишная история» потеряла всякое сколько-нибудь влиятельное значение и интерес рядом с душевной и мысленной глубиной романа. И не столь уж важно то, что нам показывают суету подпольных политических деятелей, но центр тяжести падает, как и во всех главных произведениях Достоевского, на изображение той революции, той мятежной борьбы, что происходит в душах людей. Самые тяжкие борения происходят у человека все-таки с самим собой, остальное — это пошлая фабула, которой лишь изнутри следует придать смысл и значение. «Ведь именно революцию, немолчную тревогу и смуту, душевный хаос считает он нашей первичной природой, — говорит Айхенвальд («Силуэты русских писателей»). — (...) он не рисует себе человека спокойным и благообразным, однажды навсегда устроенным: нет, глаза его раскрыты на роковую незаконченность, на постоянное беспокойство и волнение тоскующего духа. Человек для него вовеки не готов и неопределен (...) Смута кажется ему обычным состоянием

¹⁸ В скобках — комментарий самого А. Х. Таммсааре о личности и судьбе С. Г. Нечаева.

¹⁹ Цитата из «Дневника писателя» 1873 г. (21, 131), скомпонованная из двух фраз Достоевского, расположенных раздельно на одной и той же странице (многоточие между ними отсутствует). Несмотря на некоторые несущественные различия в словоупотреблении, встречающиеся в начале цитаты, перевод можно считать адекватным оригиналу.

души; болезнь — это норма. Нельзя говорить, что герои его романов — натуры исключительные, патологические (...) [но] сам он думает, что именно в этой исключительности — правило, что в этой недужной обостренности и возбужденности переживаний и состоит жизнь каждого нормального сердца».²⁰

Достоевский не терпит мещанского спокойствия, запасавшегося как чувствами, так и мыслями, словно дровами на зиму. Его герои стремятся, орошая каждую мысль кровью сердца, возвеличить ее и сделать жизненно необходимой. Каждый его герой словно ведет последнюю битву со своими страстями и мыслями, и потому они и соприкасаются столь часто со смертью, ибо она кажется им легче, чем жизнь. Ужасны те пропасти, что разверзаются в душе человека, столь ужасны, что временами хочешь пожелать, чтобы писатель был более щадящим как к своему герою, так и к читателю, иначе можно было бы его возненавидеть, даже испугаться его, как привидения. Он напоминает Мефистофеля Гете, который догадывается о самых сокровенных влечениях Фауста и их раскрывает; он словно вершит последний страшный суд, беспощадный в своем приговоре. У многих его великих героев как будто его собственное побледневшее и измученное лицо, на котором отражаются болезненные страсти, искрятся чуть раскосые глаза, пылающие жаром болезненной муки. И когда он таким образом создает своего Великого Инквизитора, который встречается со Спасителем, то кажется, что эта встреча состоялась в душе самого Достоевского (Айхенвальд). Но когда каждое чувство, каждую мысль прямо кровью сердца растят, то вряд ли остается время для красивого художественного выражения этих мыслей и чувств; даже не осмеливаясь как будто приблизиться к его поэмам страданий только с эстетическим мериллом, ибо, хотя в них обнаруживается столько удивительной красоты, все же находится там столь много и такого, что более чем только красота, назовем это просто жизнью или природой. В Достоевском одинаково нашли своего гениального выразителя как инстинктивный, бессознательный творец-художник, так и логический мыслитель. Этим и объясняется, почему в его произведениях столь много идейных героев, да и бессознательных, инстинктивных мудрецов. Обе группы столь хорошо представлены, что во всей мировой литературе вряд ли можно найти что-нибудь похожее на них по глубине. Когда сравниваешь героев Достоевского с героями Толстого, бросается в глаза то своеобразие, что Достоевский остается почти всегда объективным, в то время как в героях Толстого начинает преобладать личная жизнь творца или его ближайших знакомых. Достоевский остается объективным даже там, где он стремится изображать личную жизнь, или же он становится сухим, безжизненным, скучным.

Если Достоевский как мыслитель и жрец душевных тайн заслужил бесконечно много похвал и восхищения, то как художнику ему пришлось выслушать много упреков из-за архитектоники своих романов и из-за их языка и стиля. На протяжении многих десятков страниц он рассказывает иногда деревянным, шероховатым и неотшлифованным

²⁰ Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей М., 1908 Вып. 2 С. 91

языком вещи, не имеющие никакого отношения к роману, но и здесь рождается зачастую какое-то непонятное чудо: самое незначительное слово или указание проливает неожиданно на все эти страницы освещающий проблеск; то, что мы до этого считали напрасным, и бессмысленные и сухие рассуждения приобретают внезапно большое значение (Мейер-Грефе).²¹

Повествователь-Достоевский не может сам с собою как с диалектиком никак соперничать: наиболее захватывающие и многозначительные части его произведений — это все-таки диалоги. Здесь его язык обретает характер, остроту, гибкость, меткость и почти научную пунктуальность. В настоящем романе интересен в этом отношении язык Кириллова: половинчатый, неуклюжий, грамматически неправильный, но тем не менее столь логичный и острый, как будто он представляет собой мозаику из острых каменных осколков. Жаль, что это своеобразие так трудно воспроизвести в переводе.

В своей манере письма он остается все-таки реалистом, хотя его реализм простирается зачастую до фантастики. Достоевский сам говорит об этом: «Я ужасно люблю реализм в искусстве (...) реализм, доходящий, так сказать, до фантастики (...) Что может для меня быть фантастичнее и неожиданнее, чем действительность? Что может иногда быть недостовернее, чем именно действительность?.. То, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного». ²² Его взгляд проникает столь глубоко и насквозь в окружающую жизнь и людей, что они словно превращаются в привидения. У его взгляда сила рентгеновских лучей, перед которыми плоть становится туманно-прозрачной. Действительность превращается в «обычное привидение», вызывающее ужас в груди; будто хочется вместе с Раскольниковым спросить при виде Свидригайлова: «Это еще во сне или уже наяву?» (6, 214).²³

«Достоевский до сего дня первый среди великих писателей нового времени, — говорит Мережковский, — у кого хватило силы, оставаясь в действительности нашего времени, завоевать его и преобразить в нечто более таинственное, чем все предания исчезнувших столетий; первым понял он, что то, что кажется самым подлым, пошлым и плотским, ограничивается тем, что является самым душевным, или, как он сам говорит, — самым фантастическим, т. е. религиозным: первым сумел он найти источники сверхъестественного, не отдаляясь от реальности, а именно углубляясь в нее, углубляясь в „первосушность действительности“». ²⁴

²¹ Здесь Таммсааре реферирует мысли о Достоевском немецкого критика Юлиуса Мейер-Грефе, содержащиеся в его эссе «Достоевский как писатель» (в книжном варианте см. в издании: *Meier-Gräfe J. Dostoevski als Dichter*. Berlin, 1925).

²² Цитата скомпонована Таммсааре из разных источников. Начало цитаты — из «Дневника писателя» 1877 г. (март, глава третья, § II): «Я ужасно люблю реализм в искусстве...» (25, 90), остальные же фразы даны в вольном переводе из письма Достоевского Н. Н. Страхову от 26 февраля 1869 г. (29, 19).

²³ Цитата неточная.

²⁴ Цитата представляет собой неточный перевод из упоминавшейся книги Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» (см., например, в изд.: СПб., 1909. Т. 1. С. 297—298).